

**Валентин
КАШАЕВ**

**сухой
ЛКЖАН**



Валехтин КАПЛАЕВ

сухой лужай

Повести

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84.Р7
К 29

Художник
В. А. МЕДВЕДЕВ

4702010200—290
К 60—86
083(02)—86

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

ЮЖОШЕСКИЙ
РОМАН

Я стоял в передней, уже окончательно откланявшись, но Миньона все еще одной рукой держала цепочку и не открывала дверь, чтобы наконец выпустить меня на лестницу, а другой рукой прижимала к груди пачку моих писем, накрест перевязанных не шелковой ленточкой, а простой тесемкой, как деловые бумаги.

Это было последнее свидание.

Наш платонический роман давным-давно уже кончился и был забыт. А за пять лет революции, гражданской войны и военного коммунизма, в течение которых мы не виделись, так много переменялось, что не стоило об этом и вспоминать.

Я знал, что после меня у нее был настоящий, глубокий, серьезный роман с одним из моих бывших гимназических товарищей, принужденным бежать вместе с белыми за границу, где он и умер от скоротечной чахотки в Шварцвальде.

У Миньоны с детских лет тоже были слабые легкие, а теперь у нее открылся туберкулез и принял угрожающие формы. На ее все еще прелестном лице уже лежали тени быстро развивающейся болезни.

— Вы же видите, что я погибаю! — почти с раздражением сказала она.

Я молчал. Лицо ее стало отчужденным: вероятно, она в этот миг подумала о смерти.

— Возьмите ваши письма. Может быть, они вам еще пригодятся.

Она сняла дверную цепочку, щелкнула америкаамери замком и выпустила меня на площадку. Гул, наполнивший лестничную клетку, и в особенности бледно-зеленый декадентский цвет двери напомнили мне прошлое.

Сравнительно недавно мы тоже жили здесь.

Большая квартира в новом четырехэтажном корпусе.

...Вместо цинковой ванны — блестящая мальцевская. Всегда горячая вода. Электрическое освещение. Блестящие паркетные полы, источавшие запах свежего дуба и желтой мастики. Двери и венецианские окна были окрашены не обычной уныло-коричневой блестящей краской наемных квартир, а бледно-зеленой, матовой, свойственной новому стилю бельэпок, то есть прекрасной эпохе начала XX века. Вместо кафельных печей квартиру обогревали коленчатые радиаторы пароводяного отопления, окрашенные в тот же бледно-зеленый матовый декадентский цвет. Старая висячая керосиновая лампа в столовой, несколько напоминавшая своим белым куполом медузу, была переделана на электрическую. А новенькие бронзовые бра на стенах очень ярко светились своими молочно-радужными тюльпанами с ввинченными в них полуваттными электрическими лампочками марки «осрам», что никак не соответствовало маленькому провинциальному буфетику, круглому обеденному столу, венским стульям и железным кроватям. Стенные часы с римскими цифрами и музыкально-пружинным боем, согласно семейной легенде выигранные папой в лотерею, когда он еще был женихом покойной мамы, тоже не соответствовали новой квартире.

Купленный недавно в рассрочку гостинный гарнитур из обычной сосны, но выкрашенный под черное дерево, с двумя неудобными креслами, хрупким трехместным диванчиком, обитым золотистым шелком, с махровыми висяюльками и парными тумбочками в виде как бы дорических колонок, предназначавшимися для установки на них мраморных бюстов великих людей или, на худой конец, фаянсовых цветочных горшков, которых у нас не водилось, — это все же как-то подходило к новой, богатой, но еще не обжитой квартире.

Гостиная мебель всегда стояла в холщовых чехлах, скрывавших ее роскошь, причем кресла и стулья напоминали нечто вроде сидящих привидений.

Именно в это время я начал писать роман о своей первой любви. Стихи и романы в те годы писали почти все гимназисты. В романе, который я писал, было такое место:

«...дом был новый. Его отстроили полгода назад, осенью, и он был первым из шести других корпусов общества квартировладельцев, которые еще строились и стояли в лесах, запачканных кирпичной пылью и потеками известки. Корпуса эти строились на пустыре, на окраине города, против военного госпиталя, где некогда работал сам Пиров, недалеко от моря, в той местности, где уже начинались дачи и казармы.

Поздней осенью и зимой здесь было холодно, пустынно, и северный ветер норд-ост дул в желтые, еще не оштукатуренные ракушниковые стены, посвистывая и вереща в новых кирпичных трубах, а с нашего четвертого этажа через неоконченные постройки, за голыми садами еле виднелся кусочек штормового моря.

Когда же наваливало ненадежного южного снега, то и совсем становилось скучно. Знакомых поблизости не было. Город казался недоступно далеким. В новой квартире еще не было уюта. Электрические лампочки горели нестерпимо ярко. Веселых жарких печек не было, их заменили чугунные батареи, и всюду стоял еще не выветрившийся запах масляной краски»...

Шесть корпусов, расположенных как кости домино, — два против двух и по краям поперек еще по одному, так что в середине между ними получился длинный двор с газонами, цветниками, стриженным кустарником, совсем молоденькими, как тросточки, липками и посредине с круглым бассейном с фонтанчиком и даже золотыми рыбками.

Шестой корпус заселялся состоятельными семьями. Нарядные дети играли во дворе в мяч и ловили ясеновыми рапирами легкие кружки серсо. Мимо вас могла проехать на роликах стройная девочка, казавшаяся несколько выше, чем была на самом деле.

В последний корпус въехала семья полковника Заря-Заряницкого, в первый же день войны произведенного в генерал-майоры и назначенного командиром той артиллерийской бригады, где я впоследствии служил вольноопределяющимся.

Но тогда о войне никто не думал.

...и однажды я увидел трех девочек в кружевных платьицах, которые вышли погулять под присмотром своей

старшей, четвертой сестры, уже вполне взрослой девушки-курсистки. Одна из этих девочек, средняя, и была, как ее называли дома, Миньона...

Теперь, держа в руках пачку писем, я представил давнюю картину: четыре девушки в пасхальных платьях стоят возле рояля, держа в руках раскрытые ноты, — маленький хор ангелов — и поют под аккомпанемент домашнего учителя музыки о том, как наступила осень и улетели птицы, — щемящий душу романс Шопена.

Не так давно это было, но казалось, что прошла вечность.

Я шел по длинному дворовому садику и совершенно его не узнавал. Бассейна и фонтанчика уже не существовало. Бледно-зеленые скамейки у парадных входов исчезли, деревья разрослись и так вытянулись вверх, ища солнце, что некогда изящный скверик превратился в тесную липовую рощицу. Прежних квартировладельцев, рассчитывавших жить здесь вечно, я не обнаружил. Лишь кое-где на дверях квартир сохранились нечищенные медные таблички с их фамилиями, именами и отчествами, выгравированными прописью. Теперь здесь жили совсем другие люди, иногда по две или даже по три семьи в одной квартире.

Проходя мимо того корпуса, где несколько лет назад обитала моя распавшаяся семья, я посмотрел на балкон четвертого этажа и увидел детскую коляску и перекинутый через перила незнакомый потертый ковер.

Странно, что в моей душе ничто не шевельнулось — ни сожаления, ни грусти, а лишь всплыло воспоминание о гимназистке, жившей под нами, на первом этаже.

Ей было в ту пору лет пятнадцать: высокая, худая, стройная, длинноногая и длиннорукая, бойкая. У нее был прелестный цвет кожи несколько удлинненного лица, яркие глаза, коса до пояса. Все это могло бы сделать ее настоящей красавицей, если бы не досадная оплошность природы: нос. Нос портил все дело. Он был слишком большой, тонкий, ало просвечивающий на солнце, подобно тому как у маленьких детей просвечивают розовые ушки.

Это бы еще ничего.

Беда в том, что нос имел форму руля, того самого руля, который навешивался за кормой шаланды.

Когда она шла в гимназию, уличные мальчишки бежали за ней с криками:

— Носяра! Носяра!

Она гонялась за ними на своих длинных ногах, размахивая книгоноской, и если ей удавалось кого-нибудь из них поймать, то она, сжав книгоноску между колен, обеими руками драла мальчишке уши, не жалея своих красивых музыкальных пальцев.

Дело прошлое, но случилось так, что она влюбилась в меня. Хотя она это и скрывала, но все знали, что за нагрудником черного будничного передника кроме ученического билета с правилами поведения она всегда носила мою небольшую карточку, снятую в электрофотографии; так как она часто, иногда даже на уроках, вынимала карточку, рассматривала ее и даже, как говорили, целовала, то карточка имела потрепанный вид, мое лицо стерлось.

Встречаясь во дворе со мной, она преграждала мне дорогу, темный румянец заливал ее прелестное лицо с ужасным носом, и она говорила:

— Пчелкин! ты понимаешь? не будь каменным!

Я пытался улизнуть, не мог же я сказать ей, что если бы не ее нос, как руль...

Нет, я решительно не мог ответить ей взаимностью. Меня бы просто засмеяли товарищи. Кроме того, у нее было ужасное имя Калерия, с которым трудно было примириться.

Время шло, а любовь Калерии ко мне не проходила, хотя наши отношения стали менее драматичными. Мы были близкими соседями, как говорилось тогда, жили на одной лестнице и виделись ежедневно. Утром в одно и то же время мы выходили из дому, направляясь в гимназию. Она в свою, а я в свою. Встречались мы обычно на лестнице и затем некоторое время шли рядом по нескольким улицам, пока на одном из перекрестков наши пути не расходились.

Она была счастлива шагать рядом со мной, беспощадно размахивая клеенчатой книгоноской, за ремешки которой был заложен пенал с переводной картинкой на крышке.

Разумеется, я втайне гордился, что в меня безнадежно

влюблена девочка, почти уже девушка, хотя и с чересчур большим носом и глупым именем, но все-таки...

Короче говоря, она меня любила, а я ее нет. В остальном же мы были добрыми друзьями. Совместное путешествие ранним утром, холодным и румяным, в гимназию не доставляло мне никакой неприятности, если, конечно, уличные мальчишки не бежали за нами следом с криками «носыра!» или, еще хуже, «жених и невеста, тили-тили тесто!».

Теперь в их квартире жили незнакомые люди, а куда девалась сама Калерия и вся ее семья, я мог только догадываться: бежали с белыми за границу, о них осталось только воспоминание.

Воспоминание тревожило меня, вызывая прилив тайной горечи. Воспоминание было связано не с носатой красавицей, влюбленной в меня. О ней я почти совсем забыл.

Но у нее была подруга...

Роковое слово «подруга»... Именно ей суждено было стать моей первой и единственной любовью.

Я был влюбчив. У меня постоянно были увлечения. Но как бы я ни увлекался, по-настоящему любил только ее одну.

Сейчас я снова проходил сквозь прозрачную, совсем неощутимую среду этой единственной любви, не имевшей никакого отношения к той последней встрече с Миньоной, которую я только что так легко пережил возле маленькой бледно-зеленой декадентской двери стиля бельэпок бывшей генеральской квартиры, а теперь коммунальной.

Миньона тоже была любовью, но любовью бывшей, кончившейся, как кончается все в мире, в то время как та, странная, необъяснимая, даже как бы выдуманная, никогда не кончалась. Может быть, эта любовь — как и все в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда.

Но ведь все-таки она как-то началась?

В то время я об этом совсем не думал. Я только испытывал неудобство от пачки писем, которые держал в руке. Я почему-то никак не мог сообразить, что письма можно

положить во внутренний карман пиджака. Я еще не освоился со штатским костюмом. Это был мой первый штатский костюм, недавно купленный на Красной площади в ГУМе, незадолго до приезда в родной город.

Пачка писем была не столь велика. Она свободно могла поместиться в боковом кармане нового моего пиджачка, немного великоватого. На груди этого смешного пиджачка виднелось пятно чернил от автоматической ручки. Мне не удалось вывести это пятно, отдав пиджак в химическую чистку. Пиджак был испорчен. Пятно хотя и слабо, но все же просвечивало возле наружного бокового карманчика, откуда торчала белая головка «Монблана», как у бухгалтера.

Письма тяготили меня.

В сущности, старые письма были мне не нужны. Я прекрасно помнил их содержание: описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии, туманные любовные признания, лирические отступления и так далее. Я не придавал им значения. Они казались мне не более чем обломками как бы некой канувшей в вечность древней цивилизации, где, однако, сохранилась часть моей юношеской души. Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены — такой знакомой с детства, — я даже хотел избавиться от писем; например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал.

Таким образом, письма сохранились, сопровождая меня вместе с разрозненными страницами незаконченного юношеского романа, который я писал еще не установившимся почерком повсюду, где мне ни приходилось бывать в течение всей моей не в меру затянувшейся жизни.

...И вот однажды я развязываю тесемку...

Только в конце жизни понял я ту общеизвестную истину, что появление мое на свет от меня не зависело, так же как от меня, от моей воли, в сущности, не зависело ничто. Даже моя свободная воля зависела не от меня лично, а от кого-то или от чего-то другого. Я зависел от обстоятельств и не имел никакого отношения к устройству мира, в котором мне предназначено было существовать, к вселенной,

к устройству человеческой жизни со всеми сопутствующими ей предметами и обстоятельствами.

Обстоятельства существовали сами по себе. Я — сам по себе. Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиняться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием.

Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста.

Неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, дюймовочкам. Может быть, я поэтому и не ответил на любовь прелестной носатой полудевушки-полудевочки Калерии.

Подобные мысли стали приходить в конце жизни, когда я сводил счеты со своей юностью, и в особенности тогда, когда я наконец нашел время перечитать свои старые письма, написанные в действующей армии то чернилами, то обыкновенным фаберовским карандашом, то карандашом анилиновым, то опять чернилами, но уже почему-то зелеными, то красными, если я писал письмо в бригадной канцелярии, то даже тушью — не помню уже, откуда она взялась на позициях! Письма писались на разной по качеству почтовой бумаге, и слова порядочно поистерлись.

Мне уже трудно теперь припомнить, где и при каких обстоятельствах они писались.

Чаще всего они были писаны в землянке на маленьком дощатом столике, при свете коптилки, а однажды в околотке, где я, болев ангиной, лежал на нарах, покрытых соломой, втиснутый в ряд других больных солдат, и, подложив под листок почтовой бумаги какую-то книгу, взятую у фельдшера по фамилии Шкуронат, писал свое очередное обстоятельное письмо из действующей армии. Были письма, написанные наспех на лафете трехдюймовки в перерыве между боями.

Последний год перед революцией.

«6 января 916 года. Действующая армия. Милая Миньона. Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бахмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Военный вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная грусть, страх чего-то неизвестного... Потом Минск, обыкновенный губернский город... с деревянными домами, тройками, бубенчиками, морозом и скверными парикмахерскими...»

Прочитав это, я удивился. Мне всегда казалось, что в моих старых письмах как бы заключена легенда моей молодости. Но что же я нашел? Незрелые и даже не всегда правдивые заметки, полные умолчаний.

Разрушающаяся память все же сумела восстановить истину.

Все было взаимосвязано: зима шестнадцатого, Миньона, действующая армия и я сам — но совсем не такой, каким я хотел себя представить. А хотел я себя представить молодым патриотом, восемнадцатилетним юношей, рвущимся охотником в действующую армию; он бросил все, семью, гимназию, любимую девушку, удобства жизни, и вот теперь едет на позиции, для того чтобы разделить с народом, одетым в серые шинели, все тяготы и опасности войны с проклятыми швабами и тевтонами и, если будет угодно богу, умереть за веру, царя и отечество.

Все это было так, да не совсем так.

А собственно, что было? Грубо говоря, выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанные гимназисты поступали в юнкера. В военное время они ехали на фронт. Однако для меня это оказалось не так-то просто. В пехоту — пожалуйста. Но в пехоте наверняка убьют. Чувство самосохранения навело меня на мысль об артиллерии, где неизмеримо меньше потерь и больше удобств. Конечно, все эти соображения были глубоко подсознательны, и я бы очень удивился и даже разгневался, если бы кто-нибудь посмел заподозрить, что я думаю именно так. Я так не думал, за меня думал кто-то другой, неведомый мне, незримый.

...вообще артиллеристы более привилегированны...

И тут же обстоятельства стали мною распоряжаться. Отец Миньоны командовал артиллерийской бригадой.

Вместе с отцом я отправился на толчок покупать необходимое обмундирование. В сущности, это было не нужно. Меня и так должны обмундировать в действующей армии. Но мне до смерти хотелось хотя бы в течение нескольких дней покрасоваться в тылу в военной форме.

Уже само по себе идти на толчок считалось унижительным. Но еще более унижительно было идти по городу не в гимназической форме, на которую я уже не имел права, а в старом отцовском пальто и гимназической фуражке, где вместо сияющего герба виднелись две постыдные дырочки.

Наступали рождественские праздники и вместе с ними обычная оттепель, покрывшая слякотью тротуары. Гранитные мостовые блестели в тумане. Из темной тучи на миг выглянул желток солнца, после чего стал сеяться мелкий, как пыль, дождик пополам со снежинками, совсем скрыв от глаз прилегающие к толчку переулки рабочих окраин, заставленных чахлыми рождественскими елками, привезенными на продажу откуда-то с севера.

Небольшая площадь толчка, наполненная черной толпой продающих и покупающих, червиво шевелилась: старьевщики в котелках со своими холщовыми мешками, перекупщики, продавцы краденого, карманники, солдаты, сбывающие казенное бязевое белье с черными клеймами, марвихеры, чугунноногие инвалиды еще времен японской войны, старухи, торгующие с рук подержанными елочными украшениями — бусами, золочеными орехами, стеклянными шарами, бумажными цепями...

Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торопясь и делая вид знатока.

Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.

В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.

Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.

Господи, если бы обошлось только этим!

Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком.

Преобразование исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда, как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.

Что касается Миньоны, то она на прощание меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.

Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.

Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.

В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.

Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска в бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в ку-

не свой клетчатый чемодан, но поручик третьего класса в подстриженные усики, выставил открытым, со строгой чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса.

Я был неприятно поражен, но лихо отковырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля гер ком а ля гер, — афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!

«Незнакомые люди и безотчетная грусть, страх... неизвестного... Потом Минск...» — писал я Миньоне.

Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, а на склоне лет вспомнил.

Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые перевели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой казенной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустующей.

Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здравое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.

Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.

А в самом деле, чем черт не шутит, подумал я и купил еще две бутылки медового напитка.

Пока поезд стоял на этой новой узловой станции, я гулял с почтальоном и главным кондуктором по длинной дощатой платформе, наслаждаясь видом розового морозного заката над снежной равниной уже не Новороссии, а подлинной России. Я любовался елочными звездами станционных электрических лампочек, висящих в чистом, крепком воздухе и зажженных как бы только для того, чтобы еще более украсить зимний пейзаж.

У нас на юге я никогда не видел такого морозного вечера, а на север я ехал впервые в жизни.

Это было для меня так ново и так прекрасно, и так пригодились теплая кожаная куртка, белая папаха и кожаные меховые перчатки.

Я чувствовал себя свободным, готовым на любые воинские подвиги, и снег громко скрипел под моими юфтевыми сапогами.

Остальную дорогу до Минска я провел очень приятно в собачьем отделении багажного вагона, где всю ночь играл в двадцать одно со старшим кондуктором, проводником и почтальоном, который пики называл вини, бубны — буби, трефы — крести, королеву — краля и т. д., слюнил пальцы, прежде чем сбросить карту, и в конце концов выиграл у меня двенадцать рублей из тех двадцати, которые дал мне папа. За вычетом денег, потраченных на буженину и медовый напиток, у меня почти что ничего не осталось.

Меня это не беспокоило: на что мне деньги на позициях, тем более что, может быть, меня и убьют.

Северная зимняя ночь длилась бесконечно, и лишь в восемь часов утра в решетчатом окошечке багажного вагона слегка посинело.

На платформе минского вокзала еще горели электрические фонари совсем как ночью, я выпрыгнул из багажного вагона и оказался по пояс в лиловом снежном сугробе. С трудом вытаскивая из снега ноги в тяжелых сапогах, дыша снежной пылью, еще немного хмельной от медового напитка, утомленный бессонной ночью и проигрышем, я побрел к вокзалу.

«...Минск, обыкновенный губернский город, типичный для центральной России, с деревянными домами, тройками, бубенчиками... и скверными парикмахерскими...»